

Л. АВЕРБАХ

О ВЕЛИКОМ ГЕНИИ И УЗКОМ ФИЛИСТЕРЕ

В 1828 г. в «Московском Вестнике» было опубликовано письмо Гете веневиновскому кружку: «Продолжайте с той же постепенностью, как прежде, передавать своим соотечественникам то, что имеет для них пользу ближайшую. Имея всегда в виду монарха и его мудрые благодетельные намерения, Вы на Вашем месте исполняйте Вам предстоящее. Что честному возможно, то и полезно, что простыми понято, то принесет плоды. Да будет вам всегда возбудительной наградой одобрение вашего сердца вместе с одобрением ваших начальников»¹.

Николаевские жандармы могли быть довольны таким откликом великого поэта на восстание декабристов! И это письмо не случайно для Гете. В нем многое от той «мудрости», к которой пришел Гете, побежденный историческим убожеством современной ему Германии и ее буржуазии.

Что же делать н а м с Гете, нам, поставившим задачу выкорчевывания корней капитализма в человеческом сознании, нам, ударной бригаде мировой пролетарской революции? Чем больше думаешь над Гете, тем больше и больше вновь убеждаешься, какой подлый класс эта буржуазия!

Гете был гениальным художником периода ее исторического восхождения. Он велик как выразитель нового мировоззрения, противопоставляемого эпохе феодализма и культуре помещика и аристократа, как художник и мыслитель, вскрывающий ряд противоречий становящегося буржуазного индивидуализма, обнажающий исторические пределы «фаустовской» деятельности, невольно разоблачающий временность и преходящесть представительства буржуазией интересов всех, ранее угнетенных старым режимом.

Гете был создан немецкой действительностью. Но он стал одним из крупнейших мыслителей всего международного капиталистического общества. В истории буржуазной мысли он может быть поставлен рядом с Гегелем. Но как низко ему приходилось падать, отражая и выражая движение своего класса! Французская буржуазия пришла к власти через годы революций, через термидор, через эпоху наполеоновских войн. Немецкая буржуазия была куда слабее—она компромисничала, соглашательствовала, выторговывала, она завоевывала историческую арену ползком на брюхе, юля, виляя, хныча и стеная.

Гете не был, как пишет Меринг, частью господствующего класса. Веймарский министр, усердный придворный, слуга ничтожного герцога крохотного государства Гете был историческим выразителем тактики той буржуазии, из среды которой он вышел, он был ее агентом и представителем, он стал жертвой ее политического бессилия, ее трусости, ее отсталости по сравнению с передовой практикой французской буржуазии.

Веневитиновскому кружку писал 80-летний старик. На его глазах развертывалась деятельность французских просветителей, он был главой немецкого Sturm und Drang'a, французскую революцию он встретил, вернувшись из Италии после десятилетней жизни в Веймаре и бегства из него, он следил за развертыванием классовой борьбы во Франции, он наблюдал за появлением Наполеона и пережил его смерть, он дождался новой французской революции 1830 г., он зрелым писателем встретил литературную деятельность Шиллера и Байрона, он похоронил их обоих, он был другом Гедера, он переписывался с Гегелем, он занимался Кантом, бывшим его современником, как и Фихте, Якоби, Шеллинг, он занимался многими областями естествознания, будучи энциклопедически-образованным человеком, свою работу о свете и цветах он ставил выше любого литературного произведения, и он действительно был выдающимся философом-натуралистом; ложный классицизм, сентиментализм, мировая скорбь, новый романтизм, Гейне,—и все это на протяжении его жизни!

В его произведениях можно найти много противоречий—не только свидетельства прямого развития, но и смены точек зрения, но и мирного сожительства в мире противоположных утверждений.

Цитатный подход к Гете не только недопустим—как вообще всегда и везде,—но и особенно наглядно абсурден.

Пусть разные фракции современной буржуазии причисляют Гете то под реакционера, то под дюжинного либерала, то под гуманистического космополита, то под нетерпимого националиста, то под идейного предшественника Лиги наций, то под монархического консерватора, то под идеалиста-интуитивиста, то под эмпирика-прагматиста, то под предвосхитителя учения Дарвина, то под злейшего врага теории развития,—одни мы не заинтересованы в том, чтобы превращать Гете в диалектика-материалиста. Ленинизм дает нам возможность понять и объяснить закономерность и существо гетевской жизни, гетевского творчества, гетевской деятельности. Выдергивание цитат из произведений или писем не может заменить целостной и продуманной оценки—цитата основа анализа или иллюстрация к нему, она подтверждает доказательство, но не устраняет его необходимости. Буржуазные газеты подходят к Гете ц и т а т н о. Мы можем отдать им много цитат, но со всем наследством Гете им не справиться—классики поднимавшейся буржуазии не по плечу у м и р а ю щ е й б у р ж у а з и и! Понять Гете—значит многое уяснить в природе буржуазии, значит бороться против нее!

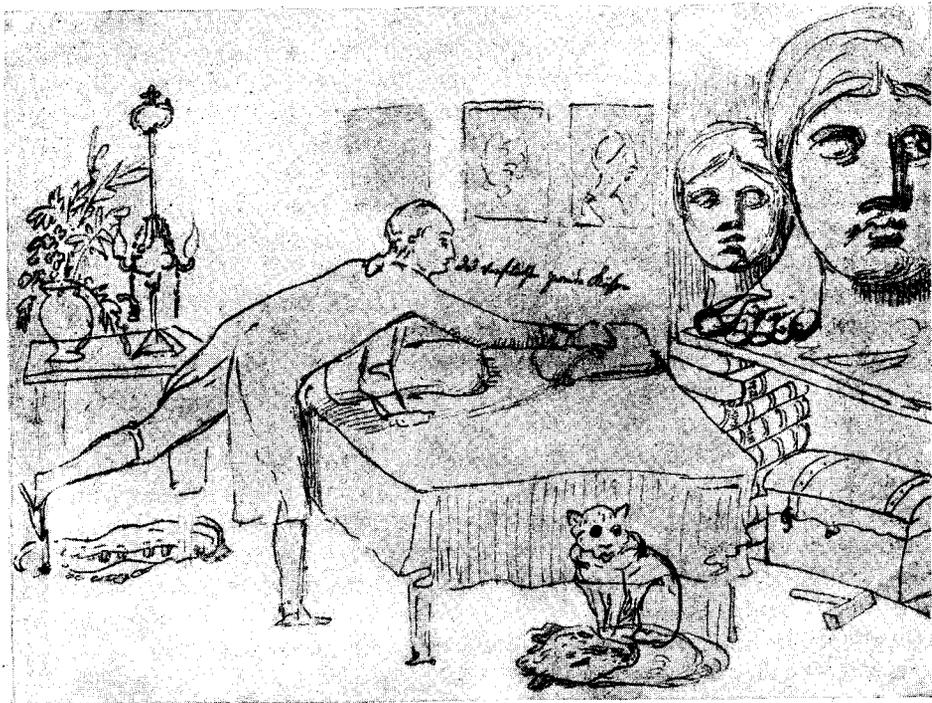
* * *

Замечательная характеристика Гете, данная Энгельсом в полемике с «истинным социалистом» г-ном Грюном², характеристика, из которой следует исходить, разбирая творчество Гете, обязывает нас к тому, чтобы проследить р а з в и т и е противоречий Гете и дать классовую оценку противоречия между гениальным художником и жизненной средой, между шедшим на сделки с аристократией буржуазным поэтом и социальной практикой его класса.

Гете резко выступал против французской революции. Яркие свидетельства тому мы находим не только в его переписке и не только в его разговорах с Эккерманом, но и в его художественных произведениях. «Великий Кофта», «Генерал-гражданин», «Возмущенные», «Беседы немецких эмигрантов», незаконченная трагедия «Девушка из Оберкирха»—это мелкие, кле-

ветнические, злобные и художественно неудачные и неубедительные памфлеты Гете против великой буржуазной революции.

Было ли однако это борьбой с точки зрения феодального дворянства и во имя «старого режима»? Было ли это ренегатским разрывом с немецкой буржуазией? Или это была пропаганда «м и р н о г о» б у р ж у а з н о г о развития без крайностей парижских предместий, без якобинцев и террора, без насильственных переворотов, без скачков и катастроф? «Герман и Доротея» — поэма, написанная в 1797 г., в значительной мере дает ответ на этот вопрос. Это конечно противопоставление мира и порядка «хаосу» и «беспорядку» революции. Это конечно «показ положительного» в противо-



ГЕТЕ В СВОЕЙ КОМНАТЕ НА КОРСО
Рисунок пером В. Тишбейна (Рим, 1787 г.).
Goethe - Nationalmuseum, Веймар

вес ужасному отрицательному примеру Франции. Это конечно исключительно мещанская и филистерская идеализация, но кого — дворян, помещиков, аристократов, знати старого режима? Нет, это восторженное воспевание мелкого бюргера, сельского зажиточного труженика, нравов и поведения примерного буржуа.

Отрицательное отношение к французской революции было присуще почти всей немецкой буржуазии. Гердер и Форстер были и с к л ю ч е н и я м и. Взгляды Гете были л и н и е й его класса, предпочитавшего холопство перед бесчисленными мелкими герцогами и князьями следованию примеру Франции. Разве буржуазная жиронда не предпочитала блока с эмиграцией союзу с ремесленниками и мастеровщиной — предпролетариатом предместий? Разве не была буржуазия напугана теми силами, которые развязывала ее борьба против старого режима? Уж лучше ползком на брюхе, чем нож гильотины!

В отношении Гете к французской революции тоже можно обнаружить известную двойственность, и эта двойственность не его личная собственность: это двойственность немецкой буржуазии, стремившейся к буржуазному национальному единству, но не имеющей сил на революцию и боящейся «плебейской» борьбы.

И однако эта двойственность, вытекавшая из особенностей развития и положения буржуазии,—к л а с с и ч е с к а я черта поведения буржуазии во всяком национально-революционном движении, поднимающем к жизни трудящиеся низы.

Правда, Гете во многом шел на слишком большие сделки с феодализмом даже с точки зрения современной ему буржуазии. Но в то же время Гете нередко и во многом опережал ее ³. Да, Гете был в стороне от чистки Наполеоном «авгиевых конюшен Германии» (Энгельс). Но именно Гете отдавал себе отчет в историческом смысле наполеоновских войн, сокративших число немецких государств с 300 до 38 и приведших к отмене личной зависимости крестьян в ряде частей Германии. И не случайно Гете упрекали за отсутствие у него ненависти во время так называемых освободительных войн против французов. У Гете не было пафоса борьбы против Наполеона, он не верил способности немецкой буржуазии объединить Германию и возглавить ее национальное развитие.

Может быть, впрочем, в отношении Гете к Наполеону сказывалось и восхищение замирителем, успокоителем, сильной властью наряду со страхом перед новыми потрясениями, новыми резкими изменениями в соотношении сил, новыми общественными сдвигами исторического масштаба и размаха.

Ведь к этому периоду Гете сильно постарел—вспомним, что он говорил Эккерману: «Много толкуют об аристократии и демократии, а вещь очень простая: в юности, когда у нас ничего нет или когда мы не умеем ценить спокойного обладания, мы—демократы, но если за долгую жизнь мы скопили себе собственность, то уже желаем, чтобы она была обеспечена не только нам, но чтобы и наши дети и внуки спокойно пользовались наследством. Вот почему к старости мы все становимся аристократами, хотя бы в юности держались иных мнений» ⁴.

* * *

Что восхищает Гете в «Вильгельме Мейстере»? «Домашний быт, основанный на б л а г о ч е с т и и, оживляемый и поддерживаемый с т а р а н и е м и порядком,—ни слишком узко, ни слишком широко, в самом благоприятном отношении способностям и силам... Здесь вижу перед собой ограниченность желаний и работу для будущего, осмотрительность и сдержанность, невинность и деятельность».

Это не похоже на неприятие убожества окружающей жизни? Да, это свидетельство и мера ее победы. Это и т о г пути, на котором Гете от «Прометеев» переходил к «Пандоре», от «Геца фон Берлихингена»—к «Эгмонту», от «Вертера»—к «Избирательному средству», от «Графауста»—к концу второй части последнего варианта «Фауста».

Но как же эта проповедь благочестия, не слишком узкого и не слишком широкого, осмотрительности и сдержанности, как эта проповедь филистерской ограниченности и мещанского самодовольства, как эта апологетика

постепенности и борьба за срединность вяжутся с обычным представлением о бунтующем Вертере и вечно мятежной фаустовской душе?

Но подлинно ли так противоположны восстание «Прометея» против богов и космический характер протеста Вертера против действительности, с одной стороны, и проповедь отречения в «Вильгельме Мейстере», сдержанности и ограниченности в «Торквато Тассо»—

Кто хочет великого, должен уметь держать себя.

Мастер показывает себя только в ограничении.

Только закон может дать нам свободу—

дела и практической работы в «Фаусте», с другой стороны?

«Страдания юного Вертера» были произведением едва ли не наиболее нашумевшим во всей истории мировой литературы. Наполеон брал «Вертера» с собой в Египетский поход, перечитывал его семь раз и в разговоре с Гете выступал в роли конкретного критика.

«Оставаться непонятым—таков удел подобных нам людей!»—восклицает Вертер. Но успех Вертера был так велик именно потому, что он был п о н я т е н бунтующему бюргеру, что это была борьба за «живого человека» нарождающегося буржуазного общества. В форме восхищения перед природой и культа сердца и чувствительности читателю был ясен протест против социальной действительности; в «Вертере» идеализировалось «нутро» героя, нового для литературы и противоположного ее старым образцам.

Право на крайний индивидуализм—так воспринималась основная линия «Вертера» в полном согласии со всем духом эпохи Sturm und Drang'a, искавшей большого человека самостоятельного поведения и сильной воли.

С л а б о с т ь буржуазии немецкой по сравнению с французской, ее отсталость, узость ее кругозора определили то, что в «Вертере» приглушен голос с о ц и а л ь н о й критики и протеста, что в «Вертере» нет вольтеровской остроты и язвительности, что в «Вертере» сила удара направляется не на т о т с т р о й , который мешает формированию буржуазного индивидуализма, а на мир вообще, на человечество в целом, на мироздание, как таковое. Недаром Лессинг протестовал против конца Вертера, против его самоубийства. Тон его критики был ясен: на что ты будешь годеи в серьезной борьбе, ежели ты стреляешься из-за неудачной любви? Конечно дело не обстоит так просто, что, дескать, полюби Лотта Вертера или успокойся он с другой,—и не было бы мировой скорби, но как раз то и характерно, что такова сюжетная ось «Вертера» и здесь центр действия.

Чем отвлеченнее бунт, чем абстрактнее были стремления, чем неопределеннее—хотя бы и очень величественно—было восстание, чем более планетарный характер носило неприятие окружающего, тем более естественно готовился компромисс там, где дело дойдет до практики, тем более следовало ожидать быстрой потери красивого оперения после первых же столкновений с буднями жизни, тем закономернее проповедью большого и терпящего крах индивидуализма готовилось разочарование в больших задачах, в больших целях, в большом деле класса.

Уже в «Вертере» мы читаем размышления героя: «В жизни очень редко вопросы решаются посредством «или—или». Чувства и способы действий имеют столько же разнообразных оттенков, сколько есть промежуточных ступеней между носом ястребиным и шишковатым. Ты на меня поэтому не

обидишься, если я соглашусь со всей твоей аргументацией и все же постараюсь проскользнуть между «или—или». И не ясно ли, что, останься Вертер жив, и он, в полном согласии с позднейшими рассуждениями Гете, из демократа превратится в аристократа, т. е. из бунтующего сверхиндивидуалиста—в филистера, примиренного с миром гарантированным куском хлеба с маслом и домиком на околице в сторонке от исторической дороги⁵. И как раз в характере Вертера заложено развитие от волновавших молодого Гете образов Моисея или Магомета к образу Вильгельма Мейстера, находящего счастье в хирургии, символизирующей честную, маленькую, простую, ограниченную и специализированную общепользную деятельность.

* * *

В опубликованном накануне гетевских дней обращении, подписанном Гинденбургом, Брюнингом, Гренером, Grimme⁶, Г. Гауптманом, Томасом Манном и другим высшим командным составом буржуазной Германии, мы читаем: «Гете нес в себе все противоположности человеческой природы и пришел от страстной двойственности своего внутреннего существа к освобождающему созвучию».

Все противоположности человеческой природы! Нет, Гете как раз потому и велик, что он действительно оказался в состоянии вскрыть не все противоречия человеческой природы, будто бы вечной и неизменной, но многие противоречия рождающегося буржуазного индивидуалиста капиталистически развивающейся Германии, многие противоречия определенного социального типа, многие противоречия, которые тогда еще были только в зародыше, многие и мнимые, и действительные, и разрешимые, и не разрешимые ими противоречия, которые надо знать нам, приступившим к выкорчевыванию корней капитализма в человеческом сознании.

«Освобождающее созвучие»—это представление о Гете сегодняшних представителей того немецкого убожества, которое в свое время победило Гете. Конечно его «олимпийство», его «классицизм», его маска холодного спокойствия вовсе не были, как кажется некоторым, выражением гетевского превосходства над действительностью, ее преодоления, снятия ее противоречий на высотах мышления. Это была наиболее самозащитная форма приятия и признания окружающего. Но программа Шиллера—путь к свободе через красоту,

Заклучись в святом уединении
В мире сердца, чуждом суеты.
Красота цветет лишь в помышлении,
А свобода—в области мечты—

не разрешала гетевской дилеммы, указанной Энгельсом.

Гете действительно тянулся к практической деятельности, он обладал величайшей радостью полного восприятия жизни (см. например «Римские элегии»), он стремился к цельной человеческой натуре, он цеплялся за нее для того, чтобы укреплять свой внутренний, ему присущий оптимизм.

«Вначале было дело» исправляет Фауст христианское «вначале было слово». В практике, в человеческой созидательной деятельности, в большом деле находит Фауст выход своей ищущей натуре.

Фауст давно стал именем нарицательным. Фаустовский человек, фаустовская техника, фаустовская душа, фаустовская культура...

Wenig in aller Eile
ich mir das Beste und Beste
des Lebens zu wünschen
denn ich weiß, daß ich
nicht mehr leben werde
und ich will mich
nicht beklagen.
Ich habe dich und
dein Leben zu mir gezogen!
Ich will dich nicht
verlassen und dich
nicht lassen.
Lieber ist die meine
deine Stube, die ich
nicht mehr in meine
Kammer gehen will,
sondern immer bei
deiner Seite zu
bleiben. Ich
will dich für immer
haben.

«Фауст—это портрет целой культуры», пишет Шпенглер. Даже главный теоретик немецкого фашизма Розенберг заявляет: «Гете изобразил в Фаусте наше существо, то вечное, что живет в нашей душе, во всяком ее оформлении» («Der Mythos des 20 Jahrhunderts»). С этим согласится и Гауптман, и Гундольф, и Риккерт, и Зиммель, и Людвиг, и любой либеральный публицист. Они будут спорить о содержании этого понятия, но «фаустовский человек» для всех них—символ внутреннего существа человека «нового времени».

Фаустовский человек—это буржуазный индивидуалист, это Вертер, взятый в аспекте «вечных» проблем и общественной деятельности. Проблема Фауста—проблема философии его жизни. Гете выступает здесь не в качестве просто блестящего жизнеописателя, мастера реалистического искусства, не в качестве риторического борца средствами шиллерствующей бытовщины, не с оружием рифмованной декларации. Гете выступает в «Фаусте» в качестве величайшего поэта-мыслителя, художника-философа, мастера обобщения и глубокого проникновения. Личность, свободная личность, судьба личности, ее назначение, ее возможности, ее место в мире—вот тема «Фауста». Так занимается Гете буржуазной личностью, смело, остро, мужественно создавая историческую символику, сохраняющую действенность на многие десятилетия и величайшую познавательную ценность на века.

А. В. Луначарский очень правильно замечает, что «неудовлетворенность Фауста есть не что иное как жажда все растущей полноты жизни».

Я

Чрез мир промчался быстро, несдержимо,
 Все наслажденья на лету лова.
 Чем недоволен был—пускал я мимо.
 Что ускользало—то я не держал.
 Я лишь желал, желанья совершал
 И вновь желал. И так я пробежал
 Всю жизнь,—сперва неукротимо, шумно,
 Теперь живу обдуманно, разумно.
 Достаточно познал я этот свет,
 А в мир другой для нас дороги нет.
 Слепец, кто гордо носится с мечтами,
 Кто ищет равных нам за облаками!
 Стань твердо здесь и вокруг следи за всем:
 Для мудрого и этот мир не нем.
 Что пользы в вечность воспарять мечтою!
 Что знаем мы, то можно взять рукою.
 И так мудрец весь век свой проведет.
 Грозитесь, духи! Он себе пойдет,
 Пойдет вперед средь счастья и мученья,
 Не проводя в довольстве ни мгновенья.

Фауст отказывается искать ответ на прежде мучившие его вопросы и сомнения. Он мечтает стать просто человеком—от богоборчества «Графауста» не остается и следа. В чем же нашел успокоение Фауст?

До гор болото воздух заражает,
 Стоит, весь труд испортить угрожая;
 Прочь отвести гнилой воды застой—

Вот высший и последний подвиг мой.
 Я целый край создам обширный, новый,
 И пусть миллионы здесь людей живут
 Всю жизнь в виду опасности суровой,
 Надеясь лишь на свой свободный труд.

.

Фауст первой части пережил такое развитие, что оно может приравняться к созданию д р у г о г о характера, другого Фауста, находящего ответы там, где для прежнего Фауста были проблемы.

Вот как раньше говорил сам Гете: «Характер Фауста на той высоте, куда поставила его новая обработка сырого материала старинного народного предания, представляет нам человека, который, чувствуя себя связанным в обычных границах земного существования, не удовлетворяется самым возвышенным знанием и наслаждением самыми прекрасными благами жизни, так как они не способны хотя бы отчасти успокоить его томление: дух, который вследствие этого обращался в разные стороны, возвращается в себя все более несчастным. Такое настроение родственно существу души современного человека».

А вот что говорил Гете Эккерману в конце работы над «Фаустом»: «Человеку не дано разрешить мировую задачу; он может только изыскивать, где начинается задача, и затем держаться в пределах доступного его понимания. Его способности не в силах измерить деяний вселенной: желание уразуметь вселенную при его ограниченном кругозоре—тщетные усилия. Разум человеческий и разум Божий—две весьма различные вещи»⁷.

Дело Фауста—то же, что и о т р е ч е н и е Вильгельма Мейстера.

Это не смелая победа того гордого духа, каким был Фауст вначале,—религиозная концовка «Фауста» не случайна. Дело оканчивается отречением от прежнего бунта, а не ответом на мучившие вопросы и не разрешением противоречий. Или точнее: в деле, как в отречении, находит Фауст ответ и выход. Мефистофель не получает души Фауста, сиречь линия Фауста оправдывается и утверждается не потому, что Фауст слился с «мы» и в коллективном труде нашел полноту жизни, а потому, что Фауст смирился и перестал попрежнему искать, находя в труде вознаграждение за отказ от богоборчества. Да, Гете был прикован к окружающей его жизненной среде, как к «единственной, в которой он мог действовать!» (Энгельс).

«Фауст» оканчивается т р а г и ч е с к и. Но это не трагедия человеческого существования—это историческая ограниченность буржуазного индивидуализма и буржуазной практики. «Фауст» не оканчивается «освобождающим созвучием»—он заканчивается практикой, не как победой, а как поражением, не как счастьем, а как пристанищем, «вечная» неудовлетворенность вводится в строгое русло и в узкие берега. Революционному духу Фауста указываются его пределы—отсюда и досюда. Апологетика буржуазного индивидуализма, восхваление сильной, свободной, одной и себедовлеющей личности приводит либо к самоубийству Вертера, либо к обрезанным крыльям Фауста конца второй части.

Продолжите Фауста дальше, дайте ему жизнь теперь—и образ Фауста с о л ь е т с я с образом Мефистофеля, и скептицизм, издевка, цинизм—подешевле, чем у гетевского Мефистофеля!—станут непременной частью внутреннего существа Фауста, и Фауст вырождается в Клима Самгина или в лучшем случае в Ивара Крейгера.

«Фаустовский человек» был величайшим шагом вперед в развитии человечества по сравнению с людским типом феодальной эпохи.

«Фаустовский человек» оказался способным бешено двинуть вперед дело покорения природы и развития техники. Но фаустовский человек и фаустовская эпоха не могли привести к созданию великой и целостной человеческой личности, о которой мечтал Гете, признавая однако невозможность ее существования в «фаустовскую эпоху».

«Справедливо говорят, что совокупное развитие всех человеческих способностей желательно и что в нем-то и есть совершенство. Но человек не рожден для такого совершенства, и всякий, собственно, должен образовывать себя как особое существо, стараясь притом достигнуть понимания того, что такое мы вместе»⁸,—рассуждает Гете, и он декларирует в «Вильгельме Мейстере»: «Да, теперь наступило время для односторонности, и благо будет тому, кто это понимает и кто действует в этом направлении для себя и для других».

Гундольф законно констатирует, что «Фауст кончает, как специалист, подобно Вильгельму Мейстеру, а ведь Фауст был дан вначале всеобъемлющим, подобно его братьям Магомету и Прометею». Гундольф и не догадывается, какой это удар по «фаустовскому человеку»!

Проблема односторонности имеет непосредственное отношение к трагедии Фауста. Разделение труда и рост индивидуальности находятся в противоречии при системе буржуазного индивидуализма. Калечение личности, зажим миллионов талантов, придавливание большинства людей—такова практика фаустовской культуры.

В недавно вышедшей уже третьим изданием интереснейшей и показательнейшей для буржуазного духовного кризиса книжке Карла Ясперса мы читаем: «Мерой человека теперь стала средняя производительность труда, поэтому индивидуальность безразлична. Нет незаменимых людей.

Мир попал в руки посредственности, во власть людей без судьбы, без достоинства, без человечности; работа не связана с индивидуальностью человека... Рабочий становится частью машины... В наше время большие люди уступают место деловым людям»⁹.

Где же выход? Вот ответ Гитлера: «Мировоззрение, которое, отказавшись от демократической массы, стремится предоставить эту землю в распоряжение лучшего народа, т. е. людей высшего порядка, логически должно и внутри этого народа подчиниться аристократическому принципу и обеспечить лучшим умам руководство и наибольшее влияние. Тем самым оно будет опираться не на идею большинства, а на идею личности»¹⁰.

Здесь есть логика: избранный народ—избранные личности, один народ—высшая порода, другие—быдло, которым надо командовать, одни люди в том же избранном народе—личности, другие—безличная масса. Здесь есть логика—это логика капитализма, озверевшего от предчувствия своего конца, это логика начала варварства, это логика ската к средневековью, это логика исторического кризиса, выход из которого либо в гибели человеческой культуры, либо—что неизбежно, что будет и что идет—в победе мировой пролетарской революции.

Ответ Гитлера—по сути наиболее нагло откровенный ответ со стороны всякого, кто не восстает против основ буржуазного порядка. Ответу Гитлера противостоит отнюдь не болтовня маскирующихся либеральной фразой. Ответу Гитлера противостоят теория и практика ленинизма, и только ленинизма.

Строй, рождающий буржуазный индивидуализм, изжил себя. Наш коллективизм—условие и предпосылка роста личности. «Преодолевая пережитки капитализма в экономике и сознании людей» (XVII партконференция), мы хороним буржуазный и индивидуализм и тем неслыханно расширяем пути роста человеческой индивидуальности. Коммунистический труд преодолевает односторонность капиталистической специализации. Коммунизм устраняет противоположность умственного и физического труда. Социалистическая техника преодолевает ограниченность техники буржуазной¹¹, предполагая и уже осуществляя иную роль и иного рабочего в производственном процессе. Наш новый человек растет и крепнет в процессе изменения мира. Нет таких вопросов, от разрешения которых он отказывался бы. Его революционная мысль и практика разрешает не только все волновавшие фаустовского человека вопросы, но и ставит новые куда более сложные, глубокие, специальные, всеобъемлющие.

Кризис буржуазной мысли находит свое ярчайшее выражение в пропаганде борьбы против техники, борьбы, ведущейся уже не только словом, но и делом.

Гете, который не дожил даже до первой железной дороги в Германии, двойственно относился к технике. Он знал неизбежность ее развития, но он боялся ее. Он писал в одном из писем к Цельтеру: «Быстрота и обогащение—вот чем восхищается свет, вот к чему все стремятся: железные дороги, спешная почта, пароходы, всевозможные удобства сообщения—вот в чем образованный мир старается превзойти, перещеголять самого себя, благодаря этому он не в состоянии возвыситься над посредственностью... В сущности это самое подходящее время для способных голов, для сметливых практических людей, которые, обладая известным проворством, чувствуют свое превосходство перед массой, хотя сами и лишены высших дарований»¹².

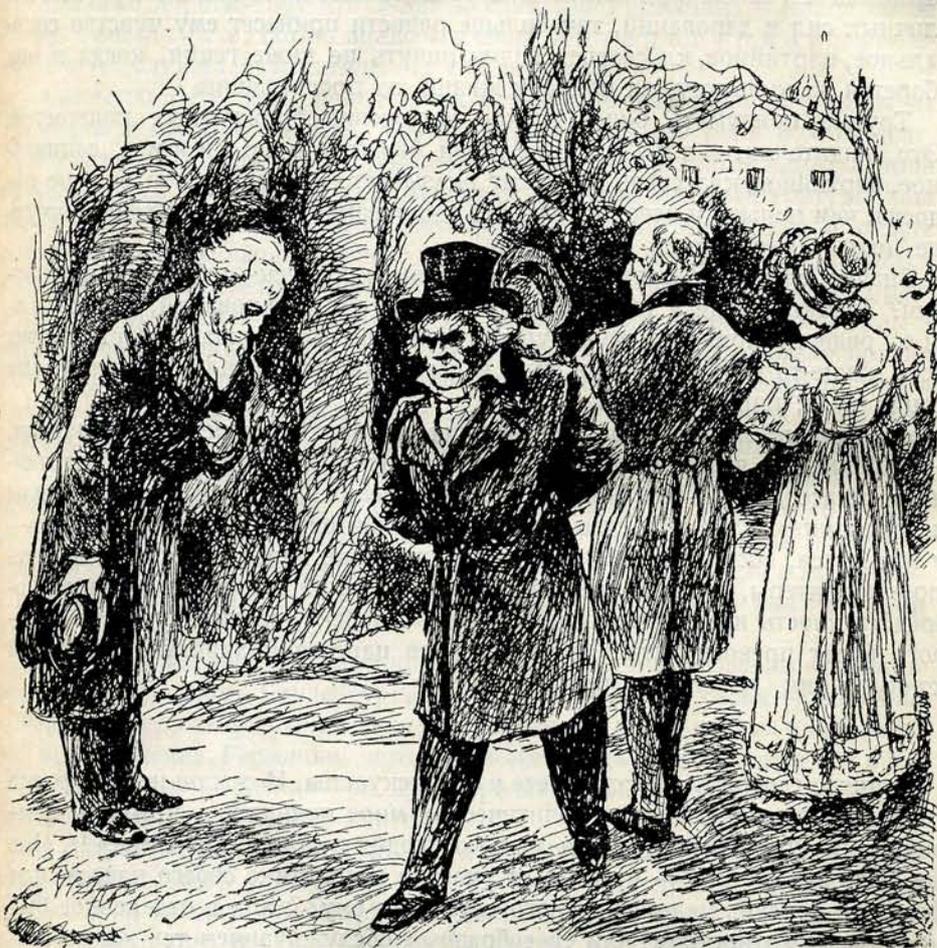
Не ясно ли, что в «Фаусте» Гете показывал не только противоречия между феодальными устоями и новым человеком буржуазного общества? Не ясно ли, что гениальность Гете проявлялась в том, что он дорастал до понимания противоречий самого типа буржуазного индивидуализма и его исторической практики? Не ясно ли, что заключительные слова фаустовского монолога—

Конечный вывод мудрости земной:
Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой—

уже давно не являются нормой поведения современного «фаустовского человека»?

Посредственность и буржуазный индивидуализм связаны так же, как расцвет личности и социалистическое товарищество в борьбе. Фаустовская неудовлетворенность окружающим и стремление к большому делу, к изменению действительности и ее перделке отражали подъем буржуазии, ее молодость, ее свежие силы. С этими же фаустовскими чертами нечего делать современной буржуазии. Эти фаустовские черты—в том гетевском наследстве, которое принадлежит только нам—мировому пролетариату в стране победившего социализма, партии, руководимой Сталиным. У нас нет противопоставления неких метафизических вечных вопросов и недостижимых целей

как предпосылки фаустовского томления духа. У нас есть величайшее удовлетворение нашей сегодняшней практикой, удовлетворение, рождающее все большую страсть дальнейшей борьбы, удовлетворение, стимулирующее революционную активность. У «фаустовского человека»—или космическое недовольство или мещанское самодовольство. У нас величайшим единством теории и практики воспитывается тип «практического материалиста»



ВСТРЕЧА ГЕТЕ И БЕТХОВЕНА С АВСТРИЙСКИМ ГЕРЦОГОМ НА ПРОГУЛКЕ
В ТЕПЛИЦЕ (ЛЕТОМ 1811 г.).

Рисунок Карла Релинга

(Маркс)—не в смысле филистерского практицизма, но целостного, крепкого духом, пропитанного историческим оптимизмом в борьбе и для борьбы развивающего все стороны своего существа социалистического человека.

В неудовлетворенности Фауста есть и нежелание примириться с относительностью достижений. Но самое такое противопоставление относительных достижений и абсолютных стремлений относительно, исторически обусловлено и социально преходяще. «Для Богданова (как и для всех марксистов) признание относительности наших знаний и с к л ю ч а е т с я самое малейшее допущение абсолютной истины. Для Энгельса из относительных

истин складывается абсолютная истина. Богданов—релятивист. Энгельс—диалектик» (Ленин). Наше стремление вперед не нуждается в подстегивании тоской по недостижимому абсолютному!

Рассуждая по поводу «Фауста», т. Луначарский писал: «Великаны борются в одиночку,—быть может им так лучше, быть может одинокие великаны сильнее; крупные люди борются группами, переключаясь друг с другом в веселой военной потехе, а люди маленькие борются партиями, армиями и в таком виде являются страшной силой. Чем меньше у человека личных сил и дарований, тем больше радости принесет ему чувство социальное, партийное, классовое. Толпа ничуть не ниже гения, когда и она борется за культуру, за полноту жизни, за просвещение»¹³.

Трудно придумать более резкое изложение буржуазных пошлостей. Это, видите ли, м а л е н ь к и е люди борются п а р т и я м и, социальное, партийное, классовое приносит оказывается человеку тем больше радости, чем меньше у него личных сил и дарований; «толпа»-то тоже «ничуть не ниже гения», когда она борется!

Значит, ежели ты «великий» или «крупный» человек—тебе не нужна партия? Значит, ежели у тебя м н о г о личных сил и дарований, тем м е н ь ш е радости принесет тебе чувство социального и классового? Значит есть какие-то вообще личные силы и дарования и отдельно существующее социальное, партийное, классовое?

«Маленькие» люди становятся «большими», проходя через школу партии. Чем больше в человеке «чувства» пролетарского, «социального, партийного, классового»,—тем больше растут и реализуются его «личные силы и дарования». Строительство социализма уничтожило прежнюю «толпу»—у нас масса, состоящая не из безличностей и не нивелирующая человеческие характеры, у нас коллектив, ликвидирующий капиталистическую посредственность и воспитывающий такого человека, средний уровень которого будет превосходить прежних гениев царства индивидуалистической конкуренции, ячества и личничества.

* * *

Принято говорить о бегстве Гете в мир искусства. И сам он неоднократно говорил, что «как только в политическом мире появлялось что-либо чудовищное и угрожающее, так я упрямо уходил в самое отдаленное»¹⁴. Чем же было это «бегство»—отказом от участия в практике своего класса или формами поисков целесообразного служения ему? Уход в отдаленное был простым дезертирством или своеобразным обслуживанием тех же исторических задач, которые разрешались в политическом мире?

«Сравнение немецкого народа с другими народами возбуждает в нас неприятное чувство, которое я всячески стараюсь преодолеть, и вот в науке и в искусстве я нашел те крылья, при помощи которых можно подняться над этим. Наука и искусство принадлежат миру, и перед ними исчезают грани национальности, но утешение, которое они даруют,—все же плохое утешение, и не возмещает гордое сознание принадлежности к великому, сильному, уважаемому и возбуждающему страх народу», заявил Гете Лудену после битвы при Лейпциге. Цель же, по мнению Гете, состоит в том, чтобы немецкий народ «не испугался бы, не стал бы малодушным, но остался бы способным на всякое большое дело, когда наступит день славы»¹⁵.

Гете прекрасно понимал исторические задачи немецкой буржуазии, но он видел ее слабости, пессимистически оценивал ее силы и курсу на рево-

люционное свержение феодализма противопоставлял курс на его буржуазное перерождение и завоевание изнутри. Он реалистически-справедливо оценивал свое положение—да, наука и искусство плохое утешение, но разве лучшее утешение в ограничении деятельностью веймарского министра? До пути французской революции он, как и его класс, не дорос—отсюда уход на такой путь, где, казалось ему, есть возможность готовить немецкий народ к способности на большое дело, «когда наступит день славы».

Железные дороги—вот что ведет к единству Германии, в конце своей жизни заметил Гете. Но он знал, что своей л и т е р а т у р н о й деятельностью он служил осуществлению той же цели.

Творчество Гете было подготовкой буржуазно-национального единства Германии и борьбой за него. Трудно переоценить его роль в этом деле. Напомним, что писал Фихте: «Только литература является единственной объединяющей связью науки. В духовном единстве своей литературы наш народ видит гарантию своего собственного духовного единства и вместе с тем залог своего национального возрождения». И эта роль Гете является издевкой над современной немецкой буржуазией. Как на заре своего развития она была труслива в борьбе за национальное освобождение, как в период своего подъема она вела такие «освободительные» войны против Наполеона, в которых меняла господство французов на плетку русского казака,—так и теперь, заканчивая свое историческое существование, она своим господством закрепляет национальный позор Германии, поработенной Версалем и планом Юнга. Тот, кто задумается над исторической оценкой деятельности Гете, тот должен отдать себе отчет в том, что современной буржуазии никак не пристала роль наследника Гете. Она наследует его компромиссы и филистерство, она наследует его мелочность и падения—этим она руководствуется, этому она подражает, выше этого она не поднимается.

«Имя Гете означает для немецкого народа послание, возвещающее внутренний мир», пишут Гинденбург, Брюнинг и Гренер в своем обращении.

Они ратуют за «внутренний мир» как условие срыва борьбы за национальное освобождение Германии, которое может быть следствием т о л ь к о социального освобождения—на пути пролетарской революции под руководством коммунистической партии.

Они ратуют за «внутренний мир» как псевдоним их политики, их господства, их классового угнетения. Они чувствуют Гете не для вскрытия его исторической миссии—борьбы за национально освобожденную Германию,—но для прикрытия их сегодняшней трусости, их сегодняшней слабости, их сегодняшнего ничтожества. Но наследники того, в чем Гете был велик, не ищут выхода в уходе от политики «в самое отдаленное»—они сильны, их дело побеждает, их победа обеспечена, они борются!

* *
*

Гете, вдумчиво осмысливавшего свой творческий метод, чрезвычайно волновал вопрос о субъективизме и объективизме. В противовес мелкобуржуазному субъективизму Шиллера, его превращению личности в простой рупор «духа времени», его идеалистическому романтизму, Гете стремился к объективному реализму. Исходить из действительности, итти от индивидуального к общему, борясь против эмпирического подхода к индивидуальному, рассматривая индивидуальное не как случайное, но ища его «закона»,—так определялись Гете его задачи, при разрешении которых

ему удавалось вскрыть даже самодвижение самого предмета, поднимаясь иногда в «Фаусте» до диалектической трактовки ряда категорий. Однако Гете отнюдь конечно не был диалектиком-материалистом, его творческий метод для нас относительно менее ценен, чем например наследство великого идеалиста Гегеля для нашей философии.

Высота гетевского мировоззрения по отношению к уровню мировоззрения его класса и его эпохи определила его величайшие художественные достижения. Его творческая практика—величайшее свидетельство роли мировоззрения. Его богатство и глубина дают меру силы и полноты художественного осмысливания действительности, проникновения в нее, воздействия на ее развитие. Но и коренные пороки мировоззрения Гете дают ключ к объяснению непоследовательности его реализма, ограниченности познания им окружающего, тяги к романтизму в юности и аллегорической символики в старости—всех недостатков его метода.

Гете недолюбливал диалектики Гегеля. Развитию противоречий он противопоставлял жажду гармонии. Он стремился к целостному ощущению жизни, и ему казалось, что требующаяся для этого объективность ее восприятия может быть достигнута бесстрашием, беспартийностью, своеобразной надмирностью.

Гете говорил Фальку, что Мейер «так проникает предмет, до того не подвержен никакой смущающей страсти, никакому партийному духу, что всегда видит карты в той игре, которую с ним ведет природа»¹⁶.

В заключении к «французской кампании» он писал: «Впрочем следует сказать, что во всех важных политических случаях в наилучшем положении находятся те наблюдатели, которые становятся на сторону той или иной партии: они хватаются с радостью за то, что им действительно выгодно, невыгодное они отрицают, игнорируют или даже истолковывают к своей выгоде. Но поэт, который по своей природе внепартиен и должен таковым оставаться, старается проникнуться состоянием обеих борющихся сторон».

Должен ли поэт стремиться познать всю действительность? Безусловно. Значит ли это, что условием такого познания является отказ от всякой «смущающей страсти» и «партийного духа»? Ни в малой мере!

Гете мечтал о таком подном восприятии мира, при котором охватывается все его богатство, все его стороны, все его многообразие, и не в деталях, а в целом. Поэтому он боролся против субъективизма, противопоставляя его тенденциозности свой объективизм как паспорт по природе внепартийного поэта. Но если даже художник не работает по методу иллюстрирования «образами» рассудочного положения, даже если он стремится не к тому, чтобы вымерить действительность своим субъективным аршином, а к тому, чтобы вскрыть логику развития самой действительности, то и тогда в его произведении обязательно заключена оценка действительности как принцип отбора материала и его анализа, как идея художественного целого. Познание определяется, движется практическим отношением к предмету—так и в области художественного познания. Означает ли такое практическое отношение, такая оценка утерю чувства и понимания целого, о чем волнуется Гете, дающий даже ряд интуитивистических характеристик творческой работе писателя? Да, так было и бывает у всякого художника буржуазии, у всякого художника теперь, кроме художника пролетарского.

Гете тенденциозен отнюдь не меньше, чем Шиллер. Его объективизм фиктивен. Пропагандируя объективизм, он тоже был то велик, то мелочен

и ничтожен, то его объективизм означал протест против буржуазной тенденциозности, отнимающей возможность того познания и восприятия мира, к которому стремился Гете, то его объективизм выражал бегство от противоречий действительности, сберегание своего личного покоя, отгораживание себя от суеты земной. Его объективизм никогда не был и не мог быть надпартийностью; в лучшем смысле он давал ему возможность в данное время стать выше данной буржуазной партии по такому-то вопросу. Пристрастие Шиллера он противопоставлял свое бесстрашие, но это была другая форма буржуазной тенденциозности. И сам Гете должен был отдавать себе в этом отчет. В письме к Цельтеру он писал однажды: «Ведь даже самая заурядная хроника привносит кое-что из духа той эпохи, когда она писалась. Разве XIV век не вложит в рассказ о появлении кометы больше предчувствий и ожиданий, чем XIX век? Да, в одном и том же городе, об одном и том же важном событии вечером иначе расскажут, чем утром».

И конечно Гете бывал партиен в своих оценках действительности в художественных произведениях. Он был тенденциозен, он приукрашивал—хотя бы и не так грубо и аляповато, как Шиллер,—одни стороны действительности, он замалчивал ее другие стороны, и часто эта тенденциозность была выражением исторически прогрессивной роли буржуазии. Но это мучило Гете; он начинал пессимистически оценивать будущее искусство, кое в чем перекликаясь здесь с Гегелем. Он угадывал связь между противоречиями его творческого метода и особенностями его классовой среды и ее мировоззрения. «Как вяла и слаба стала сама жизнь в эти два оголтелые столетия! Где теперь найдешь открытую оригинальную натуру? У кого хватит силы быть правдивым и казаться тем, что он есть? А все это действует на поэта: теперь он должен все отыскивать в самом себе, потому что ничего уже не найдет вокруг себя». И в других разговорах с Эккерманом: «В том-то и беда всех художников нового времени, что у них нет достойных сюжетов. От этого страдаем все, я не скрываю и своей принадлежности к новому времени, всякая поэзия будет все более исчезать».

И у Гете были все основания пессимистически оценивать будущее буржуазного искусства, буржуазной литературы, буржуазной поэзии в связи с победой буржуазии в жизни, в связи с ростом буржуазных характеров, в связи с культурной гегемонией буржуазии. Только пролетарская литература разрешает те противоречия, некоторые из которых смутно осознает Гете. Это первая в мире нетенденциозная литература именно потому, что это—открыто партийная пролетарская литература.

Эта литература снимает прежние споры о реализме и романтизме, ибо это глубоко почвенная и глубоко действенная литература, ибо она умеет видеть тенденции развития, ростки завтра в сегодняшнем дне, ибо она—хозяин фактов, а не раб их, ибо ей нечего прятать и ничего не надо умалчивать для того, чтобы взволнованно, приподнято и с величайшим пафосом показывать героическую практику пролетариата.

Между классовой практикой пролетариата и объективными законами общественного развития нет противоречия. Пролетариат—единственный класс, могущий познавать и познающий действительность, как она есть. Это единственный класс, чья субъективность есть историческая тенденция и объективный результат и закон человеческого развития. Это единственный класс, чья теория и практика есть путь к овладению объективной истиной.

Ленин говорил об объективизме классовой борьбы. Эта партийность отношения к миру не имеет ничего общего с принижающим и опошляющим всемирно-историческую деятельность рабочего класса «пролетарским тенденциозничеством» в форме ли литфронтовской лакировки и сусальщины, граничащей с «красной» халтурой, в форме ли эмпиризма на ходулях.

Наши художники счастливы тем, что они живут сегодня: новые характеры, новые отношения, новая жизнь—радостная, не вялая, энергичная, не слабая, а сильная.

Мы строим бесклассовое человеческое общество—мы, рабочий класс, в классовой борьбе, своею классовой борьбой, и выражением этой практики пролетариата и является то, что наши художники могут брать, создавать, отражать, переделывать всю действительность, не нуждаясь ни в субъективизме Шиллера, ни в объективизме Гете, ни в пристрастии и ни в бесстрастии, а в партийной страсти борьбы за коммунизм.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Письмо это, написанное в ответ на появившийся в «Московском Вестнике» перевод Шевырева «Елены», отрывка из «Фауста», было адресовано некоему Борхардту, жившему в Петербурге. Борхардт передал письмо Погодину для опубликования в «Московском Вестнике».

² Маркс и Энгельс, Сочинения, т. V., стр. 142. См. также выше статью Луначарского, стр. 9—10.

³ См. «Французскую кампанию» Гете. После битвы при Вальми он сказал: «Отсюда и сегодня начинается новая эпоха мировой истории, и вы можете сказать, что присутствовали при ее начале».

⁴ «Разговоры Гете, собранные Эккерманом». Изд. Суворина, 1891, ч. II, стр. 12.

⁵ Интересно отметить, что в печатном тексте «Геца фон Берлихингена» Гете выбросил указание первоначального варианта на угнетение и эксплуатацию крестьян.

⁶ Социал-фашист, в момент подписания воззвания—министр просвещения в Пруссии.

⁷ «Разговоры Гете, собранные Эккерманом», ч. I, стр. 215.

⁸ «Разговоры Гете, собранные Эккерманом», ч. I, стр. 164.

⁹ K. Jaspers, Die geistige Situation der Zeit, 1932, S. 32, 63.

¹⁰ A. Hitler, Mein Kampf, 1932, S. 493.

¹¹ В «Конце капитализма» Фрида мы читаем: «Механическая индустриальная революция, техническое развитие и вооружение хозяйства уже закончены. Нет основания ожидать новых, основополагающих изобретений». «Das Ende des Kapitalismus», S. 21.

¹² Goethe, Briefe, Bd. VIII, S. 123—124.

¹³ А. В. Луначарский, Доктор Фауст. Вступительная статья к «Фаусту» Гете в переводе Валерия Брюсова. ГИЗ, М.—Л., 1928, стр. 33.

¹⁴ «Анналы» Гете за 1813 г.

¹⁵ «Goethes Gespräche». Insel-Verlag. 1931, S. 304—305.

¹⁶ «Разговоры Гете, собранные Эккерманом», ч. I, стр. 167.